

«Гуляка праздный...»

ж. «Вопросы философии», 2008, №12, стр. 53-58.

На примере трагедии «Моцарт и Сальери» рассматривается пушкинское понимание родства гениальности и духовного опыта. Поэтический гений — это дар, который не приобретается ни заслугами, ни усилиями. Его можно лишь со смирением принять и соответствовать ему.

Ключевые слова: гениальность, духовный опыт, смирение

The Fast Liver

Taking 'Mozart and Salieri' drama as an example, the author is considering Alexander Pushkin's view on kinship between ingenuity and spiritual experience. Poetical ingenuity is a gift that cannot be gained by a merit of any kind. One can only accept it and conform to it with humility.

Key words: ingenuity, spiritual experience, humility

В русском языке нет, пожалуй, выражения более пренебрежительного, чем это. И исходит оно из уст Сальери, без оговорок признающего Моцарта гением. Что же это? Зависть? Не без этого. Пушкин, как известно, поначалу намеревался именно так озаглавить свою трагедию «Моцарт и Сальери». Однако замысел перерос сам себя. За психологическими переживаниями Пушкин вскрыл иные, и более глубокие и несравненно более значимые. Переживания, о которых идет речь у Пушкина, хотя и облекаются по видимости в психологические одеяния, к психологии как таковой, отношения не имеют.

Итак, пушкинский Сальери глубоко страдает, и страдает он не только и не столько от недостижимости высот моцартовского гения, сколько оттого, что его собственные тяжкие труды на ниве искусства не дают сопоставимого с ними результата, в то время как они налицо у человека, как ему кажется, таких усилий не прилагающего, у «гуляки праздного», одним словом. И Сальери приходит к страшному умозаключению:

«Нет правды на земле, но правды нет и выше».

Одного этого высказывания достаточно, чтобы покончить со ссылками на любые психологические переживания, чтобы понять смысл трагедии.

У Пушкина, если верить замечательному исследователю его творчества В.Непомнящему (а верить ему безусловно, на мой взгляд, нужно), нет ничего случайного. Поэтому, почему же непременно «гуляка праздный»?

Все ниже сказанное не будет еще одной попыткой разгадать что-то в Пушкине, дать еще одну интерпретацию его творчества. Для нас это повод указать на некоторые экзистенциально-бытийные законы жизни, глубоко и тонко прочувствованные поэтом.

Начнем с того, что Пушкин сам не раз откровенно признавался в праздности. Примеров более чем достаточно. Другьям он желает дарить «лень и лиру», в прошлом ему также мила «счастливая лень» («Мое завещание друзьям»), о себе пишет – «беспечный лени верный сын» («Прощание»), для которого «поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст» («Тургеневу»), и почти что предвосхищая «Моцарта и Сальери» - «я повеса вечно праздный» («Приятелю»). Или вот «К моей чернильнице»: «Подруга думы праздной, / Чернильница моя... / Сокровища мои / На дне твоём таятся, / Тебя я посвятил / Занятиям досуга / И с ленью примирил: / Она твоя подруга» и т.д. и т.п. Конечно, можно в этом видеть и некоторое стилизованное кокетство, дань беззаботной юности и общем-то не относиться к этому серьезно. Но мотив «праздности» не перестает звучать и в зрелые годы. «Праздность» остается символом ухода от прозы жизни, всякого рода житейских «полезностей» и выгод («Поэт беспечный, я писал / Из вдохновенья, не из платы» - «Разговор книгопродавца с поэтом»). И в таком случае она становится условием и «размышления» и «вдохновения», а порой и существования высокого чистого искусства как такового.

Но констатация такой позиции не представляет особого труда. Данная тема давно и хорошо проработана в мировой культуре. И Пушкин принимает эту «истину» как нечто само собой разумеющееся. В ее приятии нет ничего, что отличало бы Пушкина от других служителей искусства и составляло бы своеобразие именно его музыки, но и отказываться в силу этого от подобной «прописной» истины также нет никакого смысла. И Пушкин вновь ее повторяет в «Моцарте и Сальери». И здесь «счастливы праздные», немногие избранные жрецы прекрасного, пренебрегают нуждами «низкой жизни» и «презренной пользы» и потому только и могут заниматься «вольным искусством». Но ясно, что, как ни верна эта истина, не ради нее написана эта, хотя и маленькая, но все же трагедия. В чем же трагичность описанных Пушкиным событий?

Повторив всеми разделяемое представление о незаинтересованности и чистоте высокого искусства, Пушкин обратил внимание еще на что-то очень важное, на то, что оказалось не под силу понять не просто рядовому человеку, но и гению (т.е. Сальери, которого, как известно, автор устами Моцарта прямо признает гением, рассматривая, таким образом, своих героев равными по силе таланта). И именно это непонимание и привело к трагедии.

В данном случае очень важно признание равенства талантов Моцарта и Сальери. На это совершенно справедливо обратил внимание В.Катагощин (см. его «Моцарт и Сальери. Одно маленькое рассуждение по поводу одной «маленькой трагедии»¹), покончив тем самым с распространенной и упрощенной оценкой взаимоотношений Моцарта и Сальери, основанных на зависти последнего. Он перевел разговор в план истинной трагедии, суть которой состоит в том, что человек здесь сталкивается с глубинными проявлениями бытия, а не с психологическими переживаниями, как бы ни были последние болезненны и тяжелы для человека.

Дело, таким образом, вовсе не в том, что Сальери «разъял музыку», что хотел исчислить гармонию и обращал внимание только на «алгебру». Нет, он ценит и вдохновение и в общем-то понимает, что без него в искусстве не обойтись. Понимает (а скорее проговаривает общепризнанное) он и то, что вдохновение – это дар, божественный дар. Нет оснований предполагать, что оно совсем его не посещало (ведь гений же и он, как признает Моцарт). Но все дело в том, что Сальери думает, что его труды, во-первых, могут вызвать это вдохновение, а во-вторых, что оно, вдохновение, есть адекватная плата за его усилия.

Другими словами, вдохновением, этим божественным даром, можно располагать, управлять – человеческой настойчивостью, тяжким трудом и, продолжим, добродетельной жизнью, геройством, жертвой и т.д. Заметим, что «средства», коими Сальери, хочет вызвать вдохновение, весьма похвальны, да и цель благородна – создать истинное произведение искусства, шедевр. Эти труды должны, не могут быть не вознаграждены. И это, по Сальери, справедливо, так и должно быть. А тут, «гуляка праздный» и «райские песни»! К тому же, Моцарт и не ценит, по Сальери, ни своего дара, ни своих шедевров (он обращает внимание на фальшивое исполнение слепого скрипача и даже забавляется этим, причем в то время, когда им уже создан шедевр, т.е. фактически не возмущается (а должен был, по логике Сальери) тем, что «маляр негодный... пачкает Мадонну Рафаэля»). Есть от чего прийти в негодование.

Но против кого? На первый взгляд, против Моцарта. И это отчасти верно, ибо Моцарт – антипод всех «добродетелей» Сальери, более того, он – «враг». А враг он потому, что олицетворяет собой высшую несправедливость. Сальери здесь, по точной оценке уже упоминавшегося В.Катагощина, «предъявляет счет бытию», у него «тяжба с

¹ См. «Новый журнал». 1999. Кн.215.

бытием»¹.

А в конечном итоге это в сущности бунт против Бога, так несправедливо распределившего свои дары (буквально посылающего вдохновение *даром*, ни за что). Но богоборчество всегда чревато. Сальери становится убийцей². Однако «справедливый суд» не приносит удовлетворения. Злодейство остается злодейством, и не только не может быть оправдано никакой гениальностью, но и полностью ее исключает. И трагедия Сальери не столько в том, что он стал убийцей (что само по себе не может его не мучить) и есть серьезные основания подозревать, что он не гений (это уже для Сальери серьезнее), сколько в том, что так и остается неясным, *как* становятся гением. Сальери много и усердно трудится, он ждет вдохновения и творческого восторга. Но вдохновение как было, так и остается «внезапным даром». Принять именно эту «правду» и не может Сальери. Он никак не хочет согласиться с тем, что это всеми чаемое событие, т.е. внезапное снисхождение вдохновения, не вызывается необходимо никаким усилием воли и труда, что оно только даруется, и любые личные заслуги не гарантируют успеха.

Переходя теперь на философский язык, можно охарактеризовать трагедию Сальери как несостоявшийся экзистенциально-бытийный опыт. Трагедия здесь усугубляется еще и тем обстоятельством, что по большому счету личной вины Сальери в том, что это экзистенциальное событие не состоялось, нет. И страдает он не столько от убийства, сколько оттого, что впредь такой опыт может вообще не случиться. Может быть следовало бы здесь сделать еще одно маленькое уточнение. Скорее всего, Сальери не был обделен таким опытом совсем (ведь он же гений). Но Сальери этого мало. Он хочет вызывать его сам по собственному усмотрению всякий раз и теми средствами, о которых уже упоминалось. А это невозможно. И никакой «справедливый» суд здесь неправомерен.

Это глубоко прочувствовано Пушкиным. И неслучайно, что знаменитая пушкинская речь Достоевского содержала в себе призыв «Смирись, гордый человек!». Работай, трудись, твори, но не жди всякий раз «высокой», достойной, как тебе кажется, отдачи, не требуй себе наград, тем более, как это представляется Сальери, заслуженных и соответствующих мере затраченных усилий. Здесь нет и не может быть никакого мерила; точнее, никакое человеческое мерило неприменимо к божественному дару, а значит, к бытию, экзистенциальному событию. Это либо дано, либо не дано; либо случается, либо не случается.

Отсюда и разница отношений к своему творчеству у Моцарта и Сальери. На место сальериевского «гуляки праздного» становится моцартовское «счастливицы праздные», т.е. о-даренные, а не «сделавшие» что-то своим, пусть и тяжким трудом. Отсюда понятно и несколько легкомысленное, на первый взгляд, отношение Моцарта к своим произведениям («так, безделица») по сравнению с суровой серьезностью, с какой Сальери относится к своим. Это не значит, что Моцарт вообще не ценит ни своих произведений, ни своего труда. Речь о другом. Понимание природы дара дает ему возможность такого дистанцирования от своих произведений, при котором на первое место выступает о-даренность, т.е. понимание того, что тебя именно одарили, а значит этот дар и есть истинный исток и движитель искусства, и потому по отношению к собственно «авторским» достижениям вполне допустимо, как свое, так и со стороны других

¹ Там же. С.22.

² Мы не касаемся здесь еще одной темы – отношения к жизни и смерти. Сошлемся на статью Н.В.Белека и М.Н.Виролайнен «Там есть один мотив...», где авторы пишут: «Католик Сальери узурпировал власть, которая по христианскому закону принадлежит только Богу, и половину своей жизни прожил в соответствии с идеалом античности, Возрождения, классицизма, просветительства, наконец, с идеалом, отнюдь не христианским, не по католически трактуемым отношением человека к смерти» (См. «Временник Пушкинской комиссии». Л., 1989. Вып.23. С.38).

определенное «легкомыслие», порожденное глубоко прочувствованным пониманием, что не ты единственный и не главный творец шедевра.

Дар – это индивидуальный дар. Его нельзя обрести научением, его нельзя повторить, нельзя передать по наследству (что особенно уязвляет Сальери: «Что пользы, если Моцарт будет жив/ И новой высоты достигнет?...Наследника нам не оставит он»). И все разговоры о справедливости и несправедливости здесь по меньшей мере неуместны. «Смирись». А если смирения нет, если встаешь на путь богоборчества, тогда неминуемо возмездие (т.е. потеря всякого дара, вдохновения, самой возможности переживания экзистенциально-бытийного события, способности творить, наконец). Что в глубине души чувствует и знает Сальери. Попраание «правды свыше» оборачивается падением, утратой божественного дара. «...Ужель он прав, и я не гений?». До бунта против божественной правды еще возможно ожидание небесных даров. Но теперь всякие надежды, апелляции и оправдания бессмысленны.

Ситуация, так точно описанная Пушкиным, совсем не особенная в том смысле, что она применима только к взаимоотношениям Моцарта и Сальери. Это скорее художественное выражение самого существа экзистенциальных событий, составляющих смысловую ткань всего того, что лежит в основании человеческого существования.

Теперь несколько слов о том, о чем прямо не говорилось, но что незримо присутствовало во всем этом рассуждении. Не означает ли все сказанное о даре (а это, как понятно, относится ко всякому экзистенциальному опыту) человеческого бездействия, пассивного ожидания озарения, некоторого нисхождения свыше, божественного откровения, наконец? Ответ совсем не так прост, как это может показаться. И дело тут не в том, что человек обязан трудиться независимо от того, уверен он или нет в своей одаренности. И даже не в том, чтобы опознать свой дар и призвание и действовать в соответствии с ними. И на этом пути есть свои трудности. Речь сейчас не об этом.

Главное состоит в другом. Понимая и принимая независимость о-даренности от человеческих желаний (ведь мы не можем даже по своему желанию влюбиться, для этого нужна, как заметили уже древние, стрела, пущенная Амуром), человек не может (и очевидно не должен) смириться с собственной пассивностью в таком значимом для него вопросе. Тут необходимо заметить, что смирение, о котором мы говорим применительно к данному случаю, не имеет ничего общего с тем смирением, о котором мы говорили в связи с трагедией, переживаемой Сальери. В последнем случае Сальери бунтует – не смиряется – потому, что ему, попросту говоря, недодали, когда он так старался, а одарили того, кто даже «недостойн сам себя». В первом же случае речь идет о том, что без даров человек вообще жить не может. И потому самая глубокая озабоченность и самая большая трудность человека состоит в том, что он не может не домогаться даров, а, следовательно, не может отказаться от поисков возможных средств снискать эти дары. Не противоречим ли мы сами себе?

С формальной точки зрения это можно признать противоречием. Но на самом деле мы здесь имеем дело не с противоречием, а с *парадоксом* (всп. пушкинское же: «гений – парадоксов друг»), присутствие или появление которого говорит о том, что мы касаемся сферы подлинно экзистенциальных вопросов, при том условии, конечно, что мы правильно вышли на этот парадокс (дабы не прикрывать им всякое возникающее противоречие) и правильно вели себя в ситуации парадокса. Тут надобно вспомнить С.Киркегора, который в таких случаях говорил о том, что необходимо «занять правильное положение».

О парадоксе подробнее говорится в другом месте. Сейчас заметим только, что формальное противопоставление двух положений (в данном случае невозможности вызвать небесные дары человеческими усилиями и в то же время неистребимое желание их снискания человеческим же усилием) не может быть решено ни формально логическим

способом (в частности, устранением одного из противоположений), ни отказом от самой оппозиции как таковой. Напротив, эта оппозиция должна удерживаться именно в этой своей «формальной противоречивости», и в таком случае создаваемая ею напряженность оказывается почти что единственным и необходимым условием жизненного творчества (всякое иное, будь то рационально-логическое, техническое или научное и т.п., разрешение противоречий в конечном итоге означало бы волюнтаристское закрытие истории, а по существу самоубийство человека). Применительно к разбираемой нами теме это означает, что независимость о-даренности человека от предпринимаемых им усилий вовсе не снимает с него задачи активного выстраивания своей жизни, а напротив, даже требует его. Как заметил Августин, человек должен молиться так, как будто все зависит только от Бога, а поступать должен так, как будто все зависит только от него. Другими словами, «стучите, и вам откроется», «ищите – и обрящете».

Но все же сказанное не отвечает на вопрос, может ли и каким образом человек может снискать различные божественные дары. Некоторым казалось это довольно простым делом. Так, Паскаль считал, что если хочешь обрести веру, становись на колени и молись, и вера непременно придет. А вот Лютер многие годы провел в монастыре и не получил, чего добивался — благодати и доказательства своей избранности и пришел к выводу, что дела не спасают (и не потому ли Кальвин посчитал, что судьба человека предопределена раз и навсегда, и человек может лишь узнать, избран ли он, но не повлиять на свою участь).

Тема эта в виду особой своей значимости становится предметом специального рассмотрения почти во всех религиях. В христианстве она выступала в форме стяжания благодати, в буддизме – достижения просветления и т.п. Действительно, существует целый ряд разработанных «приемов» (в чем-то сходных, в чем-то отличных в разных религиях) достижения особого рода состояния, знания, чистоты, праведности, святости и т.д. И нельзя сказать, чтобы они не приносили никаких результатов. В противном случае они бы уже давно канули в лету и представляли чисто исторический интерес.

И все же практически общепризнанно, что эти практики не дают полностью гарантированного результата, как бы строго ни выполнялись все необходимые предписания (как, скажем, гарантирован результат в научном эксперименте, если корректно выполнены все обязательные условия). Кто-то сподобляется божественного света относительно быстро или даже с рождения (и про того говорят – «божий человек»), а кому-то надо на это годы и даже десятилетия (таковы отшельники, столпники); одни становятся чудотворцами, другие – только праведниками и т.д. Но в любом случае ни один святой, по крайней мере христианский святой, независимо от того, канонизирован он или нет, не будет считать свою святость (выражение это тоже несколько условно, ибо ни один святой таковым себя не считает) делом своих рук, хотя из многочисленных житий хорошо известно, чего стоит отшельническая жизнь и скольких сил она требует (недаром она зовется подвигом, и далеко не каждый на это способен). И именно в этом случае необходимо смирение.

И смирение здесь не простое обыденное самоуничижение, а плод глубокого проникновения в законы духовной жизни: многочисленные дары, которыми наделены люди, не есть их личное достояние, это не предмет их личной гордости, результат их собственных усилий, хотя в то же время они и требуют подвига, но подвига смиренного. Даром нельзя распорядиться по своему усмотрению (его можно лишь утратить), нельзя поставить на службу чему бы то ни было (высокому или обыденному: не все ль равно, «зависеть от царя, зависеть от народа?»), дару можно только *соответствовать*. (Даже И.Кант, вводя религию в «пределы разума» и соглашаясь с тем, что благодать есть нечто, что не может быть вызвано человеческой волей и потому не может стать предметом суждения, заключал: все, что может сделать человек, так это быть достойным благодати.) Ясно, что всякое бунтарство здесь по меньшей мере тщетно и бесславно.

А на место справедливости, от имени которой выступает Сальери, должно встать нечто совершенно иное – милость, которая, собственно, только и может быть сопряжена со смирением. Справедливость – это всегда суд, а чаще всего – кара. Так Сальери карает «гуляку праздного» за его бесполезность и за то, что, возбуждая в людях желанья прекрасного, не передает им своего таланта; Фауст – из «Сцен из Фауста» -- топит корабль, ибо там «мерзавцев сотни три»; или возьмем персонажа из более близкого нам по времени писателя – Воюнда М.Булгакова, также по видимости совершающего правый суд (во всяком случае наказываются далеко не положительные герои). Но вот характерный ответ Воюнда на просьбу Маргариты не подавать каждый раз на балу Фриде платок, которым она задушила собственное дитя (а это наказание для Фриды, скорее даже казнь): «это не по нашей части». Кара, пусть и справедливая, ибо преступление действительно чудовищно, становясь вечной и неотвратимой, начинает превосходить само ужасное злодеяние. Такой суд может быть прерван только милостью, но это «по другому ведомству». О «милости к падшим» может взывать только тот, кто знает, щедрость божественных даров, превосходящих всякие заслуги, безмерность божественной правды, соединяющей в себе не только правый суд, но и милосердие. А значит знает и исповедует смирение.

В заключение несколько слов о феномене гения. Гений и культ гения – это по преимуществу явление светской культуры. Гений всегда выделен, он не такой, как все, он призван, он одарен, его произведения божественны, к нему благосклонны небеса, он ведом свыше, он сам, наконец, сродни Богу-творцу и т.п. Все эти определения можно было бы счесть не более, как метафорами, призванными как можно ярче выделить гения из окружающей его среды, если бы не содержащаяся здесь действительно верная констатация. Гений на самом деле наделен дарами, которых не знает простой смертный, и каждый истинный гений ощущает свой дар и даже зависимость от него. Однако реальное самоощущение его и преобладающее настроение все же другое: это *мой* дар, *я* – гений. Отсюда такой накал страстей и острое соперничество среди гениев, отстаивание своего первенства и превосходства (совершенно чуждое религиозным праведникам, даже невообразимое среди них). Вот почему С.Киркегор считал невозможным, внутренне противоречивым понятие религиозного гения. Речь, по его мнению, может идти только о задаче соединения гения и веры, т.е. в сущности об осознании гением божественной (а не человеческой) природы своего дара.